

## ДОКУМЕНТ СЕРДЦА (К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н. П. ОГАРЕВА)

Первый поэт скуки был у нас, кажется, Пушкин. Не в Онегине, где скука слишком обоснована обстоятельствами общественными и потому названа характерным именем русской хандры - подобия английского сплина. И не в тех элегических стихах, где поэт говорит о своей "печали", - то легкой и светлой, то тяжелеющей от усталости. Но гораздо больше - в Фаусте, где от скуки человеческой тонут корабли, нагруженные сокровищами, и гибнут люди. И еще больше - в тех немногих, но слишком точных стихах, где говорится именно об ощущении космической пустоты, космической не заполненности. Это в двух стихотворениях о бессоннице:

Парки бабьей лепетанье  
.....  
Жизни мышья беготня  
.....  
Что ты значишь, скучный шепот?

И в другом, до трагизма остром покаянье, в котором скука становится тоской, переходит в отвращение, наконец, в проклятие.

Когда для смертного умолкнет шумный день,  
.....  
.....  
В то время для меня влачатся в тишине  
Часы томительного бденья,  
.....  
И с отвращением читая жизнь мою,  
Я трепещу и проклиная...

И Гоголь жаловался: "Скучно на этом свете, господа!" - и в последствии эта жалоба была варьирована: "Эх, господа, что-то скучно!" (у Помяловского).

Но все эти скуки были обоснованы еще внушительнее, чем в пушкинском романе, обстоятельствами общественными. Ближе по смыслу к "бабьему лепетанью Парки", - к этому ощущению космической пустоты - был отчаянный возглас лермонтовской грусти:

И скучно, и грустно, и некому руку подать...  
.....  
Желанья!.. Что пользы напрасно и вечно желать!..  
А годы проходят...

И Некрасов понимал, что значит "бес благородный скуки тайной". Эта волна скуки прилиwała и к тургеневскому берегу; она отлила от людей 60-х годов, и от Толстого, и от Достоевского, - и потом опять прилила к Чехову ("Скучная история", "Хмурые люди"...) и залила собой поэзию Сологуба: так докатилась она до наших дней...

Огарев очень напоминает и Пушкина, и Лермонтова. Но то, что у Пушкина было провалами, у Лермонтова "минутным криком", Огарев развил в целую поэму. Начав слагать свои стихи еще в 30-х годах, он словно продолжил "скуку", сказавшуюся и у Пушкина, и у Лермонтова в очень похожем на них тоне - в 40, в 50-х годах, и позже, до самого конца своих дней, в 70-х годах.

Одно из ранних своих стихотворений он тоже выразительно назвал: "Много грусти!" Грусть во всем, грусть - смысл мира:

Природа зноем дня утомлена  
И просит вечера скорей у бога,  
И вечер встретит с радостью она,  
Но в этой радости как грусти много!

Грусть или скука? Одно ли это и то же? То же ли, что печаль? тоска? скорбь? Разные ли это степени одного и того же? или различные ощущения по своему смыслу? Во всех этих именах, кроме имени - скуки, есть нечто или нежное, или зовущее. Только скука говорит о *пустоте*. Поэты могут ошибаться в терминологии, но мы не смешаем онегинской хандры с печалью самого поэта, не смешаем гоголевской скуки, обоснованной миргородским и всероссийским бытом, с вселенской меланхолией самого автора, скрытой за этой *русской* скукой. Грусть или скука у Огарева? Был ли реальный предмет его томлений или его не было? Или было одно ощущение пустой бездны:

Как будто сердце мира вынуто?

Казалось бы, удивительно задавать такой вопрос по отношению к другу и сподвижнику Герцена, вместе с ним поклявшемуся в 1825 году на Воробьевых горах помнить всю жизнь казнь декабристов, - издателю и сотруднику "Полярной Звезды" и "Колокола"... Но Огарев был именно поэт скуки, "грусти многой".

В самых удавшихся его стихах, во всех, кроме очень небольшого числа, - и не характерных, не исключая и тех, которые написаны в эпоху самого страстного общественного подъема, - какими бы именами сам поэт ни называл томление своего духа, оно оставалось *скукой* в своем существе. Противоречил ли он этим Герцену в его общественной бодрости и самому себе? Вопрос очень сложный, потому что всякий вопрос о Герцене еще сложнее. Бодрость бодростью - до самых порывистых, до самых подымающих призывов ("Ты победил, Галилеянин!", но и у Герцена, как бы ни были обоснованы его душевные томленья, мы читаем страницы такой безнадежности, что одни только отречения Паскаля или отрицания Шопенгауэра могут быть сопоставлены с этой герценовской безнадежностью, которую он и сам сопоставлял то с поэзией Байрона, то - Леопарди. И Герцен любил минорную поэзию Огарева, потому что в его собственной душе была склонность и к разочарованности, и к элегизму. Как же совместить общественную

идеалистичность с внутренней скукой? Или увлечение общественностью заглушало скуку?

Такое допущение было бы не столько кощунственным, сколько просто натяжкой. Пусть лучше остается неразрешимое противоречие гражданской веры и лирического безверия, чем принимать такое легкое и натянутое объяснение!

Огарев слагался в эпоху позднего романтизма - Лермонтова, Станкевича, Белинского 30-ых годов, и первоначально был настроен романтически; склонен был проповедовать так называемую "резигнацию", - и женился по романтической любви на той, которая, может быть, и сама пострадала и заставила страдать своего мужа, потому что на нее была направлена любовь, ей совершенно чуждая по своему настроению. Однако этот юношеский романтизм Огарева не принял, по-видимому, никаких определенных очертаний: ни приподнятой восторженности, ни байронического охлаждения, но вообще отражал кроткую созерцательность его души, ни во что прямо не веровавшей, ни в чем прямо не разуверившейся. Тихая "резигнация" в общем сознании недостижимости великих целей, грустное ожидание, может быть, и чуда... Герцен, надо думать, потряс однажды и навсегда нежную душу Огарева своей требовательностью, своей пылкостью, темпераментом, "сотканным из деятельности", возбуждая в своем кротком друге предчувствие высоких целей, реализуя их в общественности и тем самым вызывая стремление их достигать. И Огарев пошел за Герценом. Не насильственно, но "преданно", как он говорил, послушный его обаятельной воле. Это не было рабское подчинение, - напротив, это была, действительно, любовь, и Герцен, возбуждая в Огареве стремление к целям и реализуя их, сам поддавался неотразимому влиянию его нежности. Не "резигнации"! К ней он не мог склониться ни в каком случае, но - той вселенской грусти или скуке, томившей Огарева в сознании вселенской пустоты. Ведь и Герцен на самых бурных страницах "С того берега" говорил о бесцельности исторического бытия, о том, что смысл его - мгновение, что жизнь - "баядерка", "Клеопатра, растворяющая жемчужину в вине..."

Между ними было общее, их союз не был случаен. Чувство бесцельности бытия, не заполненности мира, отсутствие в нем сердца живого томило их обоих. Среди стихов Огарева есть стихи грустные, но есть и отчаянные по ощущению мировой пустынности:

Старый дом, старый друг, посетил я  
Наконец в запустенье тебя,  
И бывшее опять воскресил я,  
И печально смотрел на тебя.

Это начало - старая, еще пушкинская печаль: "Вновь я посетил тот уголок земли...", да и высказана она не на много позднее (1836 и 1839 г.). Следующие строки уже безнадежнее Пушкина:

Дом стоял обветшалый уныло,  
Штукатурка обилась кругом,  
Туча серая сверху ходила  
И все плакала, глядя на дом.

Потом опять как могло бы быть у Пушкина: студенческая комнатка, звездочка, светящая в нее, слова, начертанные на стенах, - счастье и дружба... Но конец огаревский, не пушкинский, слишком "пустынный", до неожиданности:

И мне страшно вдруг стало. Дрожал я,  
На кладбище я будто стоял,  
И родных мертвецов вызывал я,  
Но из мертвых никто не восстал.

Ни у Пушкина, ни у Лермонтова таких мотивов нет: этого чувства ужаса в пустой темноте - ужаса бездонности, совсем не того ужаса, что у Тютчева, метафизического, религиозного, а самого реального и потому такого страшного:

Но из мертвых никто не восстал!..

Огарев передавал скуку во всех ее разновидностях и оттенках, но особенно жутко она у него звучит в двух ее проявлениях: в ощущении смерти и в ощущении одиночества. И в этих двух ощущениях есть, конечно, тайное, метафизическое единство.

Первое вызывалось обычным сознанием преходимости всего, но вызывалось и живым физиологическим страхом смерти - без всяких размышлений:

Таких стихотворений не одно; но их меньше, чем тех, в которых не так явно обнажается этот скрытый смысл скуки, где говорится о том, как она томит в разных своих лицах и без лиц, под разными именами и безымянно. Сознавал ли Огарев или нет этот скрытый смысл ее, - он переживал ее всегда до кошмарности осязательно, ее одну. Если он не видел ее живую, то *слышал* ее шаги, постоянно, едва он оставался один с самим собой, со своим сердцем наедине. Шаги скуки, бродящей ночью по пустынным комнатам огромного дома, поэт слышал, как шаги старой и неотвязной, даже не знакомой, а родной, себя самого!

Как пуст мой одинокий дом  
Угрюмый и высокий!  
Какую ночь провел я в нем  
Бессонно, одинокий!  
Уж были сумраком давно  
Окрестности одеты,  
Луна светила сквозь окно  
На старые портреты;

А я задумчивой стопой  
Ходил по звонкой зале,  
Да тень еще моя со мной -  
Мы двое лишь не спали.

И дальше, как в том раннем стихотворении о "старом доме", тот же невозможный вызов одинокой скуки:

Я ждал – знакомых мертвецов  
Не встанут ли вдруг кости,  
С портретных рам, из тьмы углов  
Не явятся ли в гости?..

И страшен был пустой мне дом,  
Где шаг мой раздавался...

Или это и был только отзвук его собственных шагов? Тогда еще страшнее!..

Все же душевный исход у Огарева был, и он заключался в смутном сознании, что "жизнь веет тайной", хотя и "страшной", хотя над ней и "тяготееет судьба"; и самое главное, что в душевной глубине есть нечто "чудное"...

...О то, что как-то чудно  
Живёт в душевной глубине,  
Мне высказаться трудно...

Но "тайна" только "веяла" над жизнью, и притом "тайна" страшная, а "чудное" оставалось невысказанным, - и, в итоге, и над жизнью, и над душой "тяготееет судьба".

Стихотворения на тему о тяготеющей надо всем судьбе, конечно, самые опустошенные: шаги скуки звучат здесь не только как отзвук шагов одинокого человека в пустом доме, но как шаги самой истории, которая и, по мнению Герцена, в окончательном своем смысле бесцельна. И в таком чувстве жизнь кажется уже не реальностью, а призраком, как в буддическом воображении Шопенгауэра:

Бываю часто я смущен внутри души  
И трепетом исполнен, и волненьем:  
Какой-то ход судьбы свершается в тиши  
И веет мне от жизни приведеньем.  
В движенье шумном дня, в молчанье тьмы ночной,  
В толпе! ль, один ли, средь забав иль скуки -  
Везде болезненно я слышу за собой  
Из жизни прежней схваченные звуки.  
Мне чувство каждое, и каждый новый лик,  
И каждой страсти новое волненье,  
Все кажется - уже давно прожитый миг,  
Все старого пустое повторенье.

И скука страшная лежит на дне души...

Это писано в 1847 году. В 1856 г., в эпоху издания "Полярной Звезды", то же, но еще резче повторено в стихотворении, озаглавленном "Die Geschichte", - применительно к историческим движениям...

Объяснял ли Огарев сам происхождение своей скуки, лежавшей на дне его души?

В самых известных из своих стихотворений - в "Монологам" - он рассказал о том, как он совершил "отречение" от "прежних истин" "правды ради". "Прежние истины" были романтические верования, свойственные инстинктивным побуждениям сердца, верования его юности. "Правда", ради которой совершалось отречение, была правда герценианства: общественности, приобретающей, по мысли Герцена, свою силу единственно от позитивизма.

В этом-то, совершившимся таким путем, кровным, с мукой и борьбой, отречении и лежит объяснение сердечной безнадежности Огарева, его неотступной скуки.

Сознавал ли он или нет, что объяснение именно здесь? Надо думать, что признавал, если в таких словах нескрываемого отчаяния вспоминал о давно уже совершившемся отречении:

И ночь и мрак! Как все томительно-пустынно!  
Бессонный дождь стучит в мое окно,  
Блуждает луч свечи, меняясь с тенью длинной,  
И на сердце печально и темно.  
Былые сны! душе расстаться с вами больно;  
Еще ловлю я призраки вдали,  
Еще желание в груди кипит невольно;  
Но жизнь и мысль убили сны мои.  
Мысль, мысль! как страшно мне теперь твое движенье,  
Страшна твоя тяжелая борьба!  
Грозней небесных бурь несешь ты разрушенье,  
Неумолима, как сама судьба.  
Ты мир невинности давно во мне сломила,  
Меня навек в брожение вовлекла,  
За верой веру ты в моей душе сгубила,  
Вчерашний свет мне тьмою назвала.  
*От прежних истин я отрекся правды ради...*

Искренность этого признания так откровенна и так страшна тягостью пережитого, что нет потребности задавать себе вопрос: поэзия ли это или только обнаженная искренность, как и относительно всего, что написано в стихах Огаревым. Признания его слиты с их стихотворным выражением неразделимо. В своей великой искренности стихи Огарева - такой документ сердца, что, читая их, встоишь все время прямо перед живой душой и не можешь не волноваться за нее ее волненьем, и не спрашивать ее о том, о чем спросил бы самого себя.

И потому - еще раз тот же вопрос, обращенный к этой скупающей душе:

чувствовал ли Огарев противоречие между скукой, всю жизнь смущавшей его ощущением пустой бездны, и общественным служением? Он нигде не сопоставляет этих двух тем. И вообще его гражданские стихотворения бессильны: в них нет той искренности отчаянья, которой сильна лирика его сердца; в них вообще нет ни силы, ни большой выразительности. Это какие-то тени его лиризма, - и если он чем-нибудь близок к Некрасову, то вовсе не этими стихами, но реалистическим тоном, реалистическим ритмом и тем же - внутри затаенным - романтизмом сердца. Он преодолел романтизм герценовской, т. е. позитивно-общественной "правды ради". Он освободил от романтизма свои идеи. Освободил и свои стихотворные напевы, приведя их к простоте полнейшей, почти прозаической... Освободил ли он от романтизма то, что "как-то чудно живет в душевной глубине"? Эту душевную глубину? Возможно ли вообще такое последнее освобождение? Надо считать, что нет, что вообще невозможно. Сила искренности и Огарева, и Герцена выразилась в том, что они остались сами собой, несмотря на все "отречения", и этим дали вечное указание на две основные стихии человеческого сердца, между которыми оно неизбежно колеблется. Герцен решил вместе с другими людьми 30 - 40-х годов, что гражданский идеализм прививается глубоко только на почве мировоззрения положительного. И в жертву любви к людям позвал за собой и Огарева - принести неистребимый романтизм сердца. То был, конечно, призыв к подвигу. И они оба стойко выдержали этот подвиг, слыша все шаги скуки, раздававшиеся в пустой темноте мира, из которого они хотели вынуть сердце, чтобы спасти гражданственность. Они ошибались. И это было заблуждение целой эпохи. Но гражданственность была воистину спасена, потому что велика была и жертва, принесенная во имя ее.

Таково значение огаревской "скуки". Она говорила о принесенной жертве, самой большой, какую человек может принести, если поверит, что она необходима. Может быть, и правда, бывают такие исторические дни, когда это необходимо, когда, по словам Герцена, взятым из евангельского текста, надо "потерять свою душу, чтобы спасти ее"; во имя общественности победить свое сердце.